**Кропоткин П. А. Записки революционера (отрывок)**

Из Невшателя я поехал в Сонвильё. Здесь, в маленькой долине среди Юрских гор, разбросан ряд городков и деревень, французское население которых тогда исключительно было занято различными отраслями часового дела. Целые семьи работали сообща в мастерских. В одной из них я познакомился с другим вожаком, Адэмаром Швицгебелем, с которым впоследствии очень сблизился. Я нашел его в мастерской среди десятка других молодых людей, гравировавших крышки золотых и серебряных часов. Меня пригласили присесть на скамье или на столе, и скоро у нас завязался оживленный разговор о социализме, о том, нужно ли или не нужно правительство, о приближавшемся съезде.

В тот вечер бушевала жестокая метель. Снег слепил нас, а холод «вымораживал кровь в жилах», покуда мы плелись до ближайшей деревни, где должна была собраться сходка, но, несмотря на метель, из соседних городков и деревень там собралось около пятидесяти часовщиков, главным образом все пожилые люди. Некоторым из них пришлось пройти до десяти верст, и все-таки они не захотели пропустить маленького очередного собрания, созванного на тот вечер, чтобы познакомиться с русским товарищем.

Самой организацией часового дела, дающей возможность людям отлично узнать друг друга и работать на дому, где они могут свободно беседовать, объясняется, почему в умственном развитии местное население стоит выше, чем работники, проводящие с детства всю свою жизнь на фабриках. Юрские часовщики действительно отличаются большою самобытностью и большою независимостью. Но также и отсутствием разделения на вожаков и рядовых объяснялось то, что каждый из членов федерации стремился к тому, чтобы самому выработать собственный взгляд на всякий вопрос. Здесь работники не представляли стада, которым вожаки пользовались бы для своих политических целей. Вожаки здесь просто были более деятельные товарищи, скорее люди почина, чем руководители. Способность юрских работников, в особенности средних лет, схватить самую суть идеи и их уменье разбираться в самых сложных общественных вопросах произвели на меня глубокое впечатление, и я твердо Убежден, что если Юрская федерация сыграла видную роль в развитии социализма, то не только потому, что стала проводником безгосударственной и федералистической идеи, но еще и потому, что этим идеям дана была конкретная форма здравым смыслом юрских часовщиков. Без нее они, вероятно, еще долго оставались бы в области чистой отвлеченности.

Теоретические положения анархизма, как они начинали определяться тогда в Юрской федерации, в особенности Бакуниным, критика государственного социализма, который, как указывалось тогда, грозит развиться в экономический деспотизм еще более страшный, чем политический, и, наконец, революционный характер агитации среди юрцев неотразимо действовали на мой ум. Но сознание полного равенства всех членов федерации, независимость суждений и способов выражения их, которые я замечал среди этих рабочих, а также их беззаветная преданность общему делу еще сильнее того подкупали мои чувства. И когда, проживши неделю среди часовщиков, я уезжал из гор, мой взгляд на социализм уже окончательно установился. Я стал анархистом.

После путешествия в Бельгию, где я мог сравнить централистическую политическую агитацию в Брюсселе с независимой и экономической агитацией, которая шла среди суконщиков в Вервье, мои воззрения еще более окрепли. Эти суконщики принадлежали к числу самых симпатичных групп людей, которых я встречал за границей.

X.

*Влияние Бакунина. — Социалистическая программа*

Бакунин в то время жил в Локарно. Я не видел его и теперь крайне сожалею о том, потому что, когда через четыре года я снова очутился в Швейцарии, его уже не было в живых. Он помог юрским друзьям разобраться в мыслях и точно выразить свои стремления; он сумел вселить в них могучий, непреодолимый, революционный энтузиазм. Как только Бакунин усмотрел в маленькой газете, издаваемой Гильомом в Юрских горах (в Локле), новую, независимую струю в социалистическом течении, он тотчас же приехал в Локль. Целые дни и ночи беседовал он с новыми своими друзьями об исторической необходимости нового движения в сторону анархии. В газете он начал ряд глубоких и блестящих статей об историческом поступательном движении человечества к свободе. Он вселил в своих друзей энтузиазм и создал тот центр пропаганды, из которого впоследствии анархизм распространился по всей Европе.

После того как Бакунин переселился в Локарно, он создал подобное же движение в Италии и в Испании (при помощи симпатичного, талантливого эмиссара Фанелли). Работу же, которую он начал в Юрских горах, продолжали сами юрцы. Они часто поминали Мишеля, но говорили о нем не как об отсутствующем вожде, слово которого закон, а как о дорогом друге и товарище. Поразило меня больше всего то, что нравственное влияние Бакунина чувствовалось даже сильнее, чем влияние его как умственного авторитета.

В разговорах об анархизме или о текущих делах федерации я никогда не слыхал, чтобы спорный вопрос разрешался ссылкой на авторитет Бакунина. Рабочие никогда не говорили: «Бакунин сказал то-то» или: «Бакунин думает так-то». Его писания и изречения не считались безапелляционным авторитетом, как, к сожалению, это часто наблюдается в современных политических партиях. Во всех тех случаях, где разум является верховным судьею, каждый выставлял в спорах свои собственные доводы. Иногда их общий характер и содержание были, может быть, внушены Бакуниным, но иногда и он сам заимствовал их от своих юрских друзей. Во всяком случае, аргументы каждого сохраняли свой личный характер. Только раз я слышал ссылку на Бакунина как на авторитет, и это произвело на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор помню во всех подробностях, где и при каких обстоятельствах это было сказано. Несколько молодых людей болтали в присутствии женщин не особенно почтительно о женщинах вообще.

— Жаль, что нет здесь Мишеля! — воскликнула одна из присутствовавших. — Он бы вам задал! — И все примолкли.

Они все находились под обаянием колоссальной личности борца, пожертвовавшего всем для революции, жившего только для нее и черпавшего из нее же высшие правила жизни.

Я возвратился из этой поездки с определенными социалистическими взглядами, которых я держался с тех пор, посильно стараясь развивать их и облечь в более определенную и конкретную форму.

Был, однако, один пункт, который я принял только после долгих дум и бессонных ночей. Я ясно видел, что великие перемены, долженствующие передать все необходимое для жизни и производства в руки общества — все равно будет ли то народное государство социал-демократов или же союз свободных групп, как хотят анархисты, — не могут свершиться без великой революции, какой еще не знает история. Больше того. Уже во время Французской революции крестьяне и республиканцы должны были напрячь все усилия, чтобы опрокинуть прогнивший аристократический строй. Между тем в великой социальной революции народу придется бороться с противником гораздо более сильным умственно и физически — с средними классами, которые имеют притом в своем полном распоряжении могущественный механизм современного государства.

Но я скоро заметил, что никакой революции — ни мирной, ни кровавой — не может совершиться без того, чтобы новые идеалы глубоко не проникли в тот самый класс, которого экономические и политические привилегии предстоит разрушить. Я видел освобождение крестьян и понимал, что, если бы сознание несправедливости крепостного права не было широко распространено среди самих помещиков (под влиянием эволюции, вызванной революциями 1793 и 1848 годов), освобождение крестьян никогда не совершилось бы так быстро, как в 1861 году. И я также видел, что идея освобождения работников от капиталистического ига начинает распространяться среди самой буржуазии. Наиболее горячие сторонники современного экономического строя отказываются уже от защиты своих привилегий на почве права, а довольствуются обсуждением своевременности преобразования. Они не отрицают желательности некоторых перемен, но только спрашивают, действительно ли новый экономический строй, предлагаемый социалистами, будет лучше нынешнего? Сможет ли общество, в котором рабочие будут иметь преобладающее влияние, лучше руководить производством, чем отдельные капиталисты, побуждаемые личной выгодой, как в настоящее время?

Кроме того, я постепенно начал понимать, что революции, то есть периоды ускоренной эволюции, ускоренного развития и быстрых перемен, так же сообразны с природой человеческого общества, как и медленная, постепенная эволюция, наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз, когда темп развития ускоряется и начинается эпоха широких преобразований, может вспыхнуть гражданская война в более или менее широких размерах. Таким образом, вопрос не в том, как избежать революции — ее не избегнуть, — а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и по возможности не увеличивая взаимной ненависти. Все это возможно лишь при одном условии: угнетенные должны составить себе возможно более ясное представление о том, что им предстоит совершить, и проникнуться достаточно сильным энтузиазмом. В таком случае они могут быть уверены, что к ним присоединятся лучшие и наиболее передовые элементы из самих правящих классов.

Парижская Коммуна — страшный пример социального взрыва без достаточно определенных идеалов. Когда в марте 1871 года работники стали хозяевами Парижа, они не только не тронули права собственности буржуазии, но даже охраняли их. Вожди Коммуны грудью покрывали Национальный банк. Несмотря на кризис, парализовавший промышленность, и последовавшую от того безработицу, Коммуна своими декретами охраняла права владельцев фабрик, торговых учреждений и жилых помещений города Парижа. Между тем, несмотря на это, когда движение было подавлено, буржуазия не зачла бунтовщикам скромности их требований. Проживши два месяца в постоянном страхе, что коммунары посягнут на их права собственности, версальцы, когда они взяли Париж, стали мстить, как будто это покушение уже было совершено. Около тридцати тысяч рабочих, как известно, было перебито не в сражении, а после того как сражение было кончено. Вряд ли месть могла быть ужаснее, если бы Коммуна приняла самые решительные меры к социализации собственности.

Если в развитии человеческого общества, рассуждал я, существуют периоды, когда борьба неизбежна и когда гражданская война возникает помимо желания отдельных личностей, то необходимо по крайней мере, чтобы она велась во имя точных и определенных требований, а не смутных желаний. Необходимо, чтобы борьба шла не за второстепенные вопросы, незначительность которых не уменьшит взаимного озлобления, но во имя широких идеалов, способных воодушевить людей величием открывающегося горизонта.

В последнем случае исход борьбы будет зависеть не столько от ружей и пушек, сколько от творческой силы, примененной к переустройству общества на новых началах. Исход будет зависеть в особенности от созидательных общественных сил, перед которыми на время откроется широкий простор, и от нравственного влияния преследуемых целей, ибо в таком случае преобразователи найдут сочувствующих даже в тех классах, которые были против революции. Борьба, происходя на почве широких идеалов, очистит социальную атмосферу. В таком случае число жертв как с той, так и с другой стороны будет гораздо меньше, чем если бы борьба велась за второстепенные вопросы, открывающие широкий простор всяким низменным стремлениям.

Проникнутый такими идеями, я возвратился в Россию.

\* \* \*

Я не думал пробыть за границей более чем несколько недель или месяцев; ровно столько, сколько нужно, чтобы дать улечься суматохе, поднятой моим побегом, и чтобы восстановить несколько здоровье. Я высадился в Гулле под именем Левашова, под которым уехал из России. Избегая Лондона, где шпионы русского посольства скоро выследили бы меня, я прежде всего отправился в Эдинбург.

Случилось, однако, так, что я уже не возвратился в Россию. Меня скоро захватила волна анархического движения, которая как раз к тому времени шла на прибыль в Западной Европе. Я чувствовал, что могу быть более полезен здесь, чем в России, помогая определиться новому движению. На родине меня слишком хорошо знали, чтобы я мог вести открытую пропаганду, в особенности среди работников и крестьян. Впоследствии, когда русское революционное движение стало заговором и превратилось в вооруженную борьбу с самодержавием, всякая мысль о народном движении роковым образом была оставлена. Мои же симпатии влекли меня все больше и больше к тому, чтобы связать свою судьбу с рабочими массами; распространять среди них идеи, способные направить их усилия ко благу всех работников вообще; углубить и расширить идеал и принципы, которые послужат основой будущей социальной революции; развить эти идеалы и принципы перед рабочими не как приказ, исходящий от главарей партии, но как последствие их собственного размышления и, наконец, пробудить их собственный почин теперь, когда работники призваны на поприще истории, чтобы выработать новый и справедливый общественный строй, — все это казалось мне столь же необходимым для развития человечества, как и все то, что я мог бы выполнить в то время в России. И я присоединился к горсти людей, работавших в этом направлении в Западной Европе, заменив тех, которые были надломлены годами упорной борьбы.

Я никогда не мог освоиться с русским взглядом на пропаганду за границей. Русские товарищи считали меня чуть ли не изменником русскому делу за то, что я отдал свои силы агитации в Западной Европе. Я же думаю, напротив, что, работая для Западной Европы, я и для России сделал, может быть, больше, чем если бы я оставался в России. Все движения в России зарождались под влиянием Западной Европы и носили отпечаток течений мысли, преобладавших в Европе: Петрашевский — фурьерист, Чернышевский — дитя фурьеризма и сенсимонизма. Наше движение семидесятых годов и теперешнее — дети Интернационала и Коммуны, европейскогоБакунина и европейского же марксизма.

Впрочем, если бы мне пришлось в Западной Европе просто усилить собою ряды существующей окрепшей партии, едва ли бы я остался там. Я ушел бы туда, где нужно было бы пахать новь. Но в 1878-1879 годах, как раз в то время, когда после разгрома нашего движения 1873-1876 годов в России начиналось новое движение, действительно революционного характера, в Юрской федерации, оставшейся единственным оплотом анархизма в Европе, произошло новое распадение. Из всей нашей группы, дружно работавшей до того, остался один я да еще несколько товарищей рабочих. И мне пришлось два года с ними одними нести всю работу. Но об этом скажу ниже.

Впрочем, главное еще то, что в России я не видел поприща деятельности для себя. В 1876 году, когда я бежал, ничего не делалось в революционных кружках, то есть, вернее, в остатках наших кружков. Все активные люди сидели по тюрьмам. После побега я пробыл около недели в окрестностях Петербурга, видел нескольких из наших бывших товарищей. Все пребывали в унынии безделья. И что было предпринять?

Звать в народ — некого было. Кто мог пойти, уже пошли и были переловлены. Притом вести мирную пропаганду, очевидно, было невозможно. Надо было переходить на боевое положение, а этого-то наша молодежь не хотела. Даже позже, когда под влиянием выстрела Засулич, вооруженного сопротивления якобинцев в Одессе и виселиц небольшая кучка молодежи решила пойти на террор, теоретически отдавая должное внимание деревенским восстаниям, на деле они думали только об одном — терроре политическом для устранения царя. Я же считал, что революционная агитация должна вестись главным образом среди крестьян для подготовления крестьянского восстания. Не то чтобы я не понимал, что борьба с царем необходима, что она выработает революционный дух. Но, по-моему, она должна была быть частьюагитации, ведущейся в стране, и отнюдь не всеми, и еще менее того — исключительным делом революционной партии.

Лично я не мог себя убедить, чтобы даже удачное убийство царя могло дать серьезные прямые результаты, хотя бы только в смысле политической свободы. Косвенные результаты — подрыв идеи самодержавия, развитие боевого духа, — я знал, будут несомненно. Но для того чтобы всей душой отдаться террористической борьбе против царя, нужно верить в величие прямых результатов, которые можно добыть этим путем. Этому-то я и не мог верить до тех пор, пока террористическая борьба против самодержавия и его сатрапов не шла бы рука об руку с вооруженною борьбою против ближайших врагов крестьянина и рабочего и не велась бы с целью взбунтовать народ. Но хотя о такого рода агитации и говорилось в программах, особенно «Земли и воли» , но на деле никто, за исключением трех-четырех человек вроде, например, Ковалика, Войнаральского, — никто не хотел заниматься ею, а Исполнительный комитет и его сторонники прямо-таки считали такую агитацию вредной. Они мечтали двинуть либералов на смелые поступки, которые вырвали бы у царя конституцию, а всякое народное движение, сопровождающееся неизбежно актами захвата земли, убийствами, поджогами и т. п., по их мнению, только напугало бы либералов и оттолкнуло бы их от революционной партии.

Так и по сию пору стоят дела. Как ни тяжело было бы в мои годы, да еще семейному, тронуться в Россию и окунуться там в революционную агитацию нелегального, скрывающегося агитатора, но и теперь (1899-1900) — если бы я почувствовал необходимость моего там присутствия, нужду во мне — я пошел бы в львиную пасть. Я это пишу совершенно обдуманно, так как часто думал об этом. Но никому-то я не нужен в России, и если бы я попал теперь в Россию, то был бы в положении человека, мешающего делать что-нибудь тем, кто что-нибудь делает, вселяя в них сомнения, а между тем не чувствуя вокруг себя людей, которые в силах были бы сделать что-нибудь лучшее. По этому самому я и не начинал издавать до сих пор никакого журнала для России.

Я глубоко убежден, что в настоящую минуту (лето 1899) для России необходимо крестьянское восстание как единственный исход для теперешнего положения. Но и теперь, как двадцать пять лет тому назад, в интеллигентной молодежи не находится никого, кто бы проникся теми же мыслями. Теперь все взоры обращены на немецкую социал-демократию, успехи которой сильно преувеличиваются в России. Вот если бы в Италии началось народное восстание в широких размерах и привело бы к республиканской революции, вроде Французской революции 1789- 1793 годов, тогда другое дело. Или если бы во Франции началось опять таки народное восстание, которое привело бы к провозглашению коммун во всей Франции и в каждой коммуне — к экспроприации, тогда опять-таки другое дело. Наша молодежь поняла бы тогда значение крестьянского народного восстания и бросилась бы в подготовление такого же восстания в России.

Вот почему я думаю, что работать для подготовления народных восстаний в Европе и для теоретического обоснования будущих движений — еще лучшее средство для подготовления того же в России